

“МЫ И ОНИ” В МИРОВОЗЗРЕНИИ “ПАРИЖСКОЙ НОТЫ”
(ГЕОРГИЙ АДАМОВИЧ О ЕВРОПЕ И РОССИИ)

Олег Коростелев

Явлению, вошедшему в историю под названием “парижской ноты”, уже посвящено несколько статей и монография, готовится тематический номер “Литературоведческого журнала”, целиком отданный исследованиям на эту тему.¹ Однако единства мнений о том, что это было такое, до сих пор нет, поэтому следует сказать несколько слов о том, что в данном случае под этим определением понимается. В узком смысле это поэтическое течение, и к “ноте” в чистом виде можно отнести лишь нескольких поэтов. Однако многие писатели младшего поколения склонны были рассматривать “ноту” гораздо шире. Например, Василий Яновский был убежден, что без Адамовича “не было бы парижской школы русской литературы. Я говорю “школы литературы”, хотя сам Георгий Викторович брал на себя ответственность (и то неохотно) только за “парижскую ноту” в поэзии. Это недоразумение. Его влияние, конечно, перерастало границы лирики. Новая проза, публицистика, философия, теология – все находило на себе следы благословенной парижской ноты”.² Это была послед-

¹ Крейд В. Парижская нота и “Розы” Георгия Иванова // Записки Русской академической группы в США. Т. XXVI. 1994; Коростелев О. А. “Парижская нота” // Литературная энциклопедия русского зарубежья (1918-1940). Т. 2. Ч. II. М. ИНИОН. 1997, с. 158-164; – то же в кн.: Литературная энциклопедия русского зарубежья: 1918-1940 / Т. 2. Периодика и литературные центры. М. РОССПЭН. 2000, с. 300-303; – вариант в кн.: Литературная энциклопедия терминов и понятий. М. НПК Интелвак. 2001, с. 718-719; Ратников К. В. “Парижская нота” в поэзии русского зарубежья. Челябинск 1998; Швабрин С. А. Полемика Владимира Набокова и писателей “парижской ноты” // Набоковский вестник. Вып. 4. Спб. 1999, с. 40; “Парижская нота”: Исследования и материалы // Российский литературоведческий журнал. Специальный выпуск Сост. О. А. Коростелев (готовится).

² Яновский В. Ушел Адамович // Новое русское слово 1972, 26 марта.

ния в истории русской литературы XX века масштабная философия поэзии и, еще шире, мировоззрение или, по крайней мере, умонастроение, затрагивавшее изрядную часть эмиграции, в первую очередь, молодежи. Далее речь пойдет именно о таком понимании.³ О теологии рассуждать не берусь, но у живших в Париже прозаиков младшего поколения в сознании было много общего с поэтами “ноты”. У этих молодых людей было свое видение Европы, в которой они выросли и прожили почти всю жизнь, за исключением разве что раннего детства. В сущности, они должны были стать большими европейцами, чем предыдущие поколения русских писателей и тем более их советские сверстники. Это и произошло, однако далеко не сразу и не совсем так, как обычно бывает при стандартных попытках ассилироваться в чужой стране.

Большевистскую Россию они воспринимали как европейскую страну, в которой временно одержали верх азиатские тенденции. Василию Яновскому, например, это казалось совершенно очевидным: “Вероятно, минет столетие, прежде чем СССР опять станет Европою”.⁴ При этом молодых писателей он характеризовал как людей, “никогда не прерывавших внутренней связи и с Европой, и с родиной”⁵. Европу в большинстве своем они сознавали как “вторую родину”, и на этом основании считали для себя возможным предъявлять ей определенные претензии и требования.

Основное для них ощущение – то, что злые языки называли “коллективным лирическим унынием”: остро переживаемое одиночество в толпе, изгойство в чужом городе – все это могло бы иметь место где угодно, хотя бы и в России. Многим литераторам на определенном этапе свойственно вдохновляться своим изгойством. Но в России это ощущение возникало бы лишь изредка и именно как этап, здесь же оно присутствовало всегда, причем в самой острой форме, и заведомо не могло быть изменено, этап грозил затянуться на всю жизнь, и тут почти никаких иллюзий у молодежи не было.

³ Точно так же можно говорить, например, о евразийских умонастроениях части эмигрантской молодежи, и это, как правило, уже другая часть молодежи; сравнение мировоззренческих особенностей разных групп эмигрантов младшего поколения могло бы быть любопытным, но сейчас речь не об этом. Попытки рассуждений на эти темы см.: Азов А. В. Проблема теоретического моделирования самосознания художника в изгнании: русская эмиграция “первой волны”. Ярославль 1996.

⁴ Яновский В. Поля Елисейские: Книга памяти. Нью-Йорк. Серебряный век. 1983, с. 10.

⁵ Там же.

Молодые писатели ощущали себя эмигрантами вдвойне: они были не только пришельцами в чужой стране, они и в эмигрантском “государстве” были чужаками. Редакторами большинства эмигрантских изданий были позитивисты-общественники, которым не только творчество этих мистиков и модернистов казалось маловразумительным, но и само их поведение представлялось до опасного асоциальным. Обычный конфликт отцов и детей в эмиграции принял крайние формы, во всяком случае, молодежь воспринимала ситуацию именно так. Слова Газданова о Поплавском: “Бедный Боб! Он всегда казался иностранцем – в любой среде, в которую попадал”⁶ – можно с успехом отнести и ко многим другим молодым русским парижанам. Это был наиболее яркий случай неучастия целого поколения в социальной сфере. Принять участие во французских литературных мероприятиях не в качестве слушателя, а на равных правах, в качестве участника, им тогда и в голову не приходило. При ближайшем рассмотрении, разумеется, можно найти и совместные акции, и другие исключения из правил, но, во всяком случае, сами они считали себя полностью исключенными из социальной сферы и именно так вспоминали первые десятилетия своей жизни на Западе.

Рассуждая о герое молодой литературы (а герой этот чаще всего имел настолько сильные автобиографические черты, что его без особой натяжки можно считать *alter ego* автора), Владимир Варшавский писал: “В социальном смысле он находится в пустоте, нигде и ни в каком времени, как бы выброшен из общего социального мира и предоставлен самому себе”⁷.

Дома они чувствовали себя только в литературе, вернее, в попытках заняться литературой, причем для большинства эти попытки вовсе не были легкими и приятными. Большую роль в этом играло очень характерное для российской психологии (а может быть, и православной в определенной ее части) проживание жизни как бы начерно, предварительно, ощущение, что все происходящее это не всерьез, не по-настоящему, в лучшем случае, это пока, надо перетерпеть, а вот уж потом... Думается, в силу именно этой национальной психологической особенности у эмигрантов нередко наступало, по определению Варшавского, “своего рода раздвоение личности. Лучшая часть их “я” не участвовала в жизни

⁶ Газданов Г. И. О Поплавском // Современные записки 1936. № 59, с. 462.

⁷ Варшавский В. О “герое” эмигрантской молодой литературы // Числа 1932. № 6, с. 164.

тех стран, куда они попали".⁸ Современный исследователь так описывает это существование на грани двух миров – реального и собственного внутреннего, творческого: «

“Чужой” – холодный, равнодушный “европейский” мир – прозрачен для понимания и освоен “своими”, в нем понятно, как действовать, но невозможно существовать. Существование в мире “своем” – проблематично, иллюзорно, полуобмороно-полувыморочно, но в то же время – “неподдельно” и “подлинно”.⁹

Константин Мочульский писал в 1931 году о том, что после войны Франция “утратила свой великий стиль, свое единство”:

О гибели Европы заученными голосами повторяют все репортеры. Это – воздух, в котором мы живем. И каждый спасается, как может. В католичестве, в американизме, в коммунизме.¹⁰

Молодые русские писатели в Париже спасались в литературе. Кризис им был очевиден. Но они решили извлечь из него максимум пользы, коли уж его нельзяказалось обойти. Соглашаясь вслед за пессимистически настроенным Ходасевичем считать “европейскую ночь” беспросветно черной (“Под европейской ночью черной”), молодые писатели, тем не менее, не желали оставлять позиций. Лучик надежды вселяла в них проповедь Адамовича.

К сожалению, все это поколение, справедливо охарактеризованное Варшавским как “незамеченное”, оказалось незамеченным и второй раз. В России начала девяностых, когда возникла мода на эмиграцию, промежуток между падением идеологических барьеров и возникновением барьеров экономических оказался очень мал. Даже основные книги писателей младшего поколения оказались изданы не все, что уж говорить об архивных материалах, эпистолярии и прочем. Большинству из них и архив-то не удалось сохранить. Поэтому многое пока что восстановить можно лишь вчерне, прежде всего по печатным выступлениям.

Настроения изрядной части молодых писателей русского Парижа и, шире, эмигрантской публики, во многом определялись мыслями вдохновителя “парижской ноты” Георгия Адамовича (1892-1972). Эволюцию

⁸ Варшавский В. Незамеченное поколение. Нью-Йорк. Издательство имени Чехова. 1956, с. 172.

⁹ Каспэ Ирина. Ориентация на пересеченной местности: Странная проза Бориса Поплавского // Новое литературное обозрение 2001. № 47, с. 192.

¹⁰ Мочульский К. О Франции // Новая газета 1931. 1 марта. № 1.

его взглядов на взаимоотношения России и Европы легко проследить по многочисленным статьям в эмигрантской печати, а также по сохранившейся переписке.

Адамович был убежденным франкофилом еще в Петербурге. Французский язык для него был родным (в семье говорили в равной степени на русском и французском), французскую литературу он прекрасно знал в юности, Бодлер и Малларме стали его кумирами еще в студенчестве, а после знакомства с Гумилевым преклонение перед французской культурой у Адамовича лишь укрепилось.

С легкой руки Гумилева, по воспоминаниям Адамовича, участники Цеха поэтов “сразу ‘влюбились’ в Мореаса так, что ни о ком больше не говорили. Мы читали “Стансы” как поэтическое евангелие и иногда договаривались до того, что “это лучше Пушкина”. Теперь я понимаю, что нас пленил и очаровал тогда европеизм, или, вернее, аттицизм Мореаса, его чистота и простота, которыми мы упивались, оглушаемые со всех сторон футуристически-пролетарскими взвизгами”.¹¹ Объяснение этому Адамович дает тут же: “в одиночестве тогдашней России стихи Мореаса были для нас ‘золотым сном об Элладе’”, и добавляет: “Теперь... мне кажется непростительным грехом, что мы могли хотя бы на один лишь час предпочесть эту изящную и хрупкую поэзию тревожно гениальному, подлинно великому Бодлеру. Но тогда было другое время”.¹²

Из Петербурга Европа представлялась ему землей обетованной, страной святых чудес, а европейская литература (в первую очередь, французская, но также английская и скандинавская) – образцом для подражания. В своих ранних петербургских статьях Адамович в запальчивости уверял, что западная литература ушла далеко вперед, и русским писателям остается только учиться у нее и в меру сил наверстывать упущенное.

Эмиграция и близкое знакомство с Западом заставило его многое изменить в своих воззрениях. Шпенгеровские настроения в те годы уже перестали быть достоянием одних только интеллектуалов. Уже в 1924 году Адамович констатирует: “разговоры на шпенгеровские темы стали достоянием завсегдатаев кафс... Европа и вся ее культура нередко хорохонится между двумя бокалами пива. Но значительности и величия шпенгеровской мысли это опоплление ее задеть не может”.¹³ На его взгляд,

¹¹ Адамович Г. Литературные беседы // Звено 1925. 6 апреля. № 114, с. 2.

¹² Там же.

¹³ Адамович Г. Литературные беседы // Звено 1924. 17 ноября. № 94, с. 2.

“Россия была провинцией по сравнению с Европой – и мы, как провинциалы, сбиты с толку столичной суетой... В России еще нельзя было говорить о распаде личности. Здесь же это так поразительно-очевидно, так непостижимо, и – что страшнее всего – так законно, в смысле исторической неизбежности, что от зрелица кружится голова... Основное, глубочайшее, конечно, – исчезновение или убыль христианства, и роковая пустота “в сердцах восторженных когда-то”. Но помимо этого: человек не выдерживает пребывания на выставке, на митинге. Утончаясь, обостряясь, усложняясь в каждую отдельную минуту, он раздроблен на тысячи частиц, он как бы взвивается брызгами, клубится пылью по ветру – и не в силах восстановить свое единство.¹⁴

И, тем не менее, он полагал, что “эмиграция – предвиденное событие, издавна предначертанное стране судьбой, дар почти неизбежный”.¹⁵ Вслед за Брюсовым Адамович считал,

что все передовое русское литературное движение последних десятилетий – т. е. декадентство, символизм и т. п. – было всего-навсего лишь “последовательным литературным западничеством”. Это очень верно, особенно в отношении конца девяностых годов, когда символисты подлинно открывали европейскую культуру... Но и до наших дней мы в основном и главном были учениками... попав в Европу на долгое время, присматриваясь, приглядываясь, мы с недоумением видим, что она сама, в лице множества своих представителей, отказалась от своих “заветов”, что она созрела для своего особого евразийства и считает устаревшим, иссякшим то, что нам казалось в ней наиболее долговечным.¹⁶

Теперь Европа представлялась ему краем “дорогих могил”, по Достоевскому, равнодушным, но все же приютившим русских беженцев, за что ему надо быть благодарными, однако “неуютно и жутко в Европе потому, что после России в ней всякий человеческий голос кажется ‘гласом вопиющего в пустыне’”¹⁷.

Париж – вторые Афины, да, но ведь тут нет первородства, Россию тоже называют повторением Византийской империи. Так что, по мнению Адамовича,

¹⁴ Адамович Г. Комментарии // Современные записки 1935. № 58, с. 321.

¹⁵ Adamovich G. L'autre patrie. Paris, Egloff, 1947. Здесь и далее цитируется по русскому переводу Т. Источниковой, готовящемуся к выходу в издательстве “Алетья”.

¹⁶ Адамович Г. Литературные беседы // Звено 1927. № 2, с. 73.

¹⁷ Адамович Г. Комментарии // Современные записки 1935. № 58, с. 320.

и “мы”, и “они” – в одном положении, и “мы”, и “они” должны бы сознавать себя должниками. Разница есть. История оказалась к “ним” благосклоннее. Но и “мы”, и “они” живем на чужой счет.¹⁸

Несколько приутихи и былые восторги Адамовича по поводу французской литературы, у которой он стал находить досадные стороны:

Декламация, склонность к звонкой фразе – одна из неискоренимых черт французской литературы и, кстати, сказать, одна из причин затаенной русской неприязни к этой литературе.¹⁹

Он продолжал числить французскую литературу одной из первых, если не самой первой литературой в мире, однако чем дальше, тем тверже приходил к убеждению, что позаимствовать у нее русской литературе нечего, это сферы лишь соприкасающиеся, но не способные оказывать существенное влияние друг на друга, развивающиеся по собственным внутренним законам. Зависимость между ними существует, но отнюдь не прямая, а гораздо более сложная, опосредованная. С годами осознание принципиальной разницы литератур и менталитетов у Адамовича лишь крепло.

По всеобщему признанию, французская литература сейчас в Европе самая зрелая и блестящая. Обратимся именно к ней – с тем большим еще основанием, что Париж был и остается столицей мира, что по счастливой для нас случайности он стал центром русского “рассеяния” и что в наших здешних наблюдениях, наших сравнениях, мы имеем дело с Европой самой подлинной, хочется сказать, первоклассной.

Слушая французские литературные разговоры, читая книги и журналы, пытаясь вообще уловить единую, основную, обобщающую “тему” современной французской литературы и мысленно переводя ее на русские понятия, русский духовный язык, мы сразу чувствуем некоторое недоумение. “Не то”, а, главное, “не о том”. Сначала думаешь, что это только так кажется... Но вскоре никаких иллюзий не остается. “Не о том”.

По сравнению с французами, мы в литературе и молоды и стари – мы и наивнее и разборчивее их одновременно... В общем, в среднем французы пишут лучше нас, острее, яснее, тоньше, гибче. Писательская техника их несравненно богаче, опыт разнообразнее». Однако удручают «суесловье, неискоренимое пристрастие к “фразе”, общая какая-то пустота и праздность речи... Французское слово пышно и сухо, без длительного “отзыва”, и это со странной убедительностью сказывается на текстах, которые мы очень хорошо знаем и к которым духовно требовательны, на тексте Еван-

¹⁸ Адамович Г. Комментарии // Опыты 1953. № 1, с. 106.

¹⁹ Адамович Г. Литературные беседы // Звено 1927. № 1, с. 8.

гелия, например... За декоративностью речи вскрывается то, что можно назвать декоративностью чувства, – и нам с этим “нечего делать”.²⁰

Главное отличие Адамович видел в том, что “тема русской литературы в общих ее чертах остается еще темой христианской... Русский писатель или мыслитель, даже при отсутствии интереса к религиозным темам, сохранил еще отношение к человеку, как к ограниченной ‘твари’, и, не произнося имя Божества, не думая о нем, представлял себе мир таким, как если бы Божество существовало.

Совсем не то на западе и, в частности, во Франции. Скажу сразу, в чем дело: понятие Абсолютного перенесено на человека, и тяжестью его человек раздавлен... человек больше не может верить, даже если он верить хочет. Не ум его отказывается от иллюзий, – нет, это еще не было бы бедой, – отказывается все существо его, плоть и сердце его. Просвещение сделало свое дело. Франция потеряла христианство и вместе с ним потеряла всякую веру. Но только в последнее время начинает сказываться, чего ей это потеря стоит, как трудно ей эту потерю вынести. Собственно, тема новейшей французской литературы есть тема “сохранения человеческого в человеке” или даже “сохранения единства личности”, и эта тема есть отдаленное, но прямое следствие исчезновения понятия о Божестве”.

При этом Адамович продолжал считать, что Европа имела на своем счету подлинные завоевания, не отменяемые никакими претензиями.

Великая идея равенства, может быть, не осуществлена во Франции с совершенной полнотой, оставаясь “идеалом”. Но внедрился этот идеал в жизнь все-таки настолькоочно, что мы здесь его узнали, как что-то каждому человеку необходимо и естественное.²¹

В дневнике военных лет Адамович записал: “если бы мне нужно было честно сказать о том, что можно назвать “сумерками Франции” в сознании одного из ее гостей последних злосчастных лет, я должен был бы говорить о кризисе почти непреодолимом. Может быть, даже об агонии” (*L'autre patrie*). К военному же времени относится и еще более откровенная запись Адамовича: “Что ни говори, как ни верти, отрицать этого все-таки невозможно: русского человека что-то от Франции отталкивает, и здесь, в последние двадцать пять лет, при окончательной проверке, это

²⁰ Адамович Г. О французской “*inquiétude*” и о русской тревоге // Последние новости 1928. 13 декабря. № 2822, с. 2; 27 декабря. № 2836, с. 3.

²¹ Адамович Г. Мы и они // Последние новости 1939. 5 декабря. № 6826, с. 3.

обнаружилось с совершенной ясностью. Не по сердцу”.²² И все же признавался: “Я бы хотел жить здесь, во Франции, и больше нигде” (*L'autre patrie*). Причем это была вовсе не дань вежливости приотившей стране, а вполне осознанное предпочтение. После взятия гитлеровскими войсками Парижа в глубокой депрессии Адамович писал знакомому из Ниццы: “Не хочу только ехать ни в Нью-Йорк, ни в Москву, а остальное безразлично”.²³

Одним из наиболее существенных и опасных симптомов в духовной жизни Европы первой половины XX века Адамович считал все растущее пренебрежение к “галльскому ясному смыслу”. “Франция восстала на то, что сама же создала и возвеличила, на то, чему в течение нескольких столетий служила, по-видимому, убедившись в неосновательности – или, по крайней мере, не полной основательности – претензий разума на всемогущество”.²⁴ Все межвоенные годы Адамович пристально следил за первыми опытами сюрреалистов и дадаистов, за нападками авангардистской молодежи на классиков, за манифестами Монтерлана, Барреса, Морраса и др. Это поветрие он называл французским скифством и предсказывал “новый, очередной взрыв романтизма в искусстве, с помрачением Расина и Пушкина, с низложением разума, не оправдавшего надежд”.²⁵ Вторую мировую войну он и воспринял именно как результат “низложения разума”.

Любопытно изменение его воззрений на знаменитый спор славянофилов и западников. В первые же годы эмиграции Адамович отзывался о нем куда менее категорично, чем раньше: “В России можно было быть западником, – по-моему, надо было быть им. Но, странствуя по заграницам, многое видишь, чего не видел прежде, и многое понимаешь, что раньше было темно”,²⁶ пишет он в 1925 году, а еще два года спустя прямо говорит о “кризисе западничества”.²⁷ В “*L'autre patrie*” он называет главный идеологический спор XIX века “плодотворным” и признает, что «силы были разделены поровну… мысль славянофилов, их основная идея

²² Адамович Г. Из записной книжки // Новоселье 1946. № 29-30, с. 74.

²³ Письмо Г. Адамовича А. Полякову от 30 ноября 1940 г. // Coll. Poliakov. Bakhteteff Archives, Columbia University, New York.

²⁴ Адамович Г. О нас и о французах: Несколько замечаний по поводу перевода “Анабазиса”, поэмы С.-Ж. Перса // Мосты 1961. № 8, с. 106-112.

²⁵ Адамович Г. Литературные беседы // Звено 1927. № 1, с. 7.

²⁶ Адамович Г. Литературные беседы // Звено 1925. 20 апреля. № 116, с. 2.

²⁷ Адамович Г. Литературные беседы // Звено 1927. № 2, с. 73.

тайным образом сходна с метафизической идеей возвращения, лучше согласуется с поэтическими преобразованиями или с преобразованиями чувств и находит больше откликов в сердцах. Бедные западники едва могли добиться понимания и нередко казались банальными подражателями, ослепленными внешней стороной вещей, – да отчасти так оно и было” (*L'autre patrie*).

Отталкивание у Адамовича продолжал вызывать облегченный вариант славянофильства, не отягощенный сомнениями и вообще интеллектом, принимающий нехитрые чужие теории на веру, но этот тип людей, по его мнению, встречается в любой стране: “Французы, выступающие за ультра-национализм того же рода, вызывают у меня отвращение в той же мере, что и русские, но у русских я лучше понимаю мотивы, ими движущие, лучшие замечаю их самодовольство, их душевный стиль, их внутреннее лицо, так сказать, – и более решительно отхожу в сторону” (*L'autre patrie*).

Еще позже, готовя в 1967 году к печати книжную редакцию “Комментариев”, Адамович делает в текстах значительные изменения, смягчая восторженные эпитеты при оценке западных литератур и вычеркивая обороты насчет “затхлости”, “непроходимой тупости” славянофильства, в тезисах которого, по трезвому размышлению, Адамович начал находить определенную правоту.

Париж, в то время признанная столица мира, становится в сознании молодых писателей и столицей русской литературы, как раньше центром был Петербург. Однако мало кто из эмигрантских литераторов принимает участие в собственно французской литературной жизни (Н. Бердяев, В. Вейдле, Г. Адамович). И почти никого нельзя назвать из младшего поколения, хотя, казалось бы, кому как не им в первую очередь адаптироваться к новым условиям, ассимилироваться. Однако, в конце концов, именно это нежелание ассимилироваться и привело к появлению своеобразного эмигрантского государства без территории.

Некоторые авторы в разное время попробовали перейти на другие языки,²⁸ однако выбравших эту литературную стратегию оказалось не

²⁸ Из наиболее известных: Владимир Набоков, Анри Труайя (Лев Тарасов), Ален Боске (Биск), Владимир Познер, Андрей Левинсон, Ромэн Гари, Серж Голон, Натали Саррот (Наталья Черняк), Габриэль Мацнев, Зоя Ольденбург, Яков Горбов, Жак Круазе (Зинаида Шаховская), Иосиф Кессель, Артур Адамов, Эммануэль Бов (Бабавнуков), Мишель Гардер, Ирина Немировская.

так уж много, гораздо меньше, чем можно было ожидать.²⁹ Чаще выбирался иной вариант поведения – попытка создать свой парижский Петербург, маленькую французскую Россию. Как писал Адамович в стихах: “Взвивается над Елисейской аркой / Адмиралтейства вечная игла”. Психологическое основание этой стратегии – стремление воспользоваться абсолютной свободой для творчества.³⁰ Вообще же выбор стратегий поведения у литератора-эмигранта невелик: ассимиляция или гетто. Третий вариант – войти в сонм международных писателей, принадлежащих к космополитической литературе – из младшего поколения оказался по плечу только Набокову.

Складывавшаяся на протяжении двадцатых-тридцатых годов парижская школа прозаиков (Г. Газданов, С. Шаршун, Ю. Фельзен, Б. Поплавский и др.) представляла собой любопытную разновидность второго варианта – смешение традиций, с одной стороны, русской классической литературы, воспринятой чаще всего через Бунина, с другой стороны, последних веяний западноевропейских литератур, особенно французской, воспринятой преимущественно через Пруста.

А.М.Ремизов, отвечая в 1931 году на анкету “Новой газеты”, писал:

Самым выдающимся явлением за пять лет для русской литературы я считаю появление молодых писателей с западной закваской. Такое явление могло произойти только за границей: традиция передается не из вторых рук, а непосредственно через язык и памятники литературы в оригинале. Для русской литературы это будет иметь большое значение, если только молодые русские писатели сумеют остаться русскими, а не запишут в один прекрасный день по-французски и канут в тысячах французской литературы.

Устремленность к Западу, т. е. к той жизни, – во всех ее видах и разнообразии, истории и современности, в которой живут молодые русские

²⁹ Сразу после войны многие писатели первого поколения (Георгий Адамович, Николай Оцуп, Довид Кнут, Гайто Газданов и другие) написали по книге на французском языке (преимущественно в мемуарно-публицистическом жанре), но как только возобновилась эмигрантская печать, вновь стали писать по-русски.

³⁰ То, что именно равнодушная Франция позволила пользоваться такой свободой, не случайно. Главных центров рассеяния было не так уж и много: русский Берлин, Прага, Харбин (Париж здесь явно на первом месте), позже Нью-Йорк. Нельзя сказать: русский Лондон или русский Рим. Необходимой критической массы для такого понятия не сложилось. Каковы необходимые критерии для такой критической массы – очень интересная тема, но углубляться в нее следует отдельно.

писатели, явление нормальное, и русская традиция, без которой не может быть русского писателя, ответственнейшая после Гоголя, Толстого и Достоевского, не только ничего не потеряет, а даст при талантливости писателей своеобразный вид русского письма.³¹

О влиянии на молодую эмигрантскую прозу иностранных литератур, преимущественно французской, и особенно Пруста, писали и говорили много как в то время, так и позже. Гайто Газданова французские критики склонны были даже расценивать как французского писателя, пишущего на русском языке. Василий Яновский был убежден, что “латинская прививка к родному максималистскому полудичку обернулась творческой удачей”.³²

Вплоть до второй мировой войны молодым русским писателям вполне хватало своей литературной среды. С западными писателями они общались гораздо меньше, чем могли бы. Тот факт, что рядом, в соседнем кафе, а то и за соседним столиком могли сидеть Хемингуэй, Томас Манн или Поль Валери, почти не отразился не только в произведениях, но даже и в дневниках или переписке молодых русских парижан. Говоря о Поплавском, Варшавский мог бы сказать то же самое о целом поколении: “Ни с одним современным французским литератором Поплавский не был знаком, вообще не имел никаких французских знакомых, не был вхож ни в какой французский круг”.³³ При этом именно Поплавский справедливо считается единственным русским сюрреалистом, единственным достойным наследником французских poètes maudits (проклятых поэтов).³⁴ О встречном интересе и говорить не приходится. По свидетельству Варшавского, «иностранные не интересовались молодой эмигрантской литературой, так как она никого не представляла и никакого социально значительного явления не “отображала”».³⁵ Личные знакомства с иностранными писате-

³¹ Новая газета 1931. 1 апреля. № 3.

³² Яновский В. Поля Елисейские: Книга памяти. Нью-Йорк. Серебряный век. 1983, с. 54.

³³ Варшавский В. Незамеченное поколение, с. 175.

³⁴ Набоков, казалось бы, с самого начала выбрал иной путь. Но отталкивался он прежде всего от уныния «парижской ноты», отличаясь от них лишь темпераментом. Меньше всего его можно назвать социально прижившимся. Он всю жизнь был таким же изгоем и никем другим быть не собирался. Да и заняв ведущее положение в литературе, при первой же возможности удалился в Монреаль и заперся затворником.

³⁵ Варшавский В. Незамеченное поколение, с. 170.

лями чаще приходятся на послевоенные годы. В 1920-1930-е молодые русские парижане гораздо чаще испытывали литературные влияния западных писателей через книги.

Разумеется, дело не исчерпывалось книжными влияниями, было и гораздо более опосредованное влияние через сам воздух Парижа. Атмосфера свободной Европы на умонастроении молодых русских парижан, несомненно, сказалась, однако определить это однозначно не так-то просто. Позже, уже после второй мировой войны, схожие настроения были выражены французскими экзистенциалистами. О прямом влиянии говорить не приходится, но у обоих явлений можно найти общие корни (философия Льва Шестова, в частности), кроме того, оба явления сформировались одной и той же атмосферой межвоенного Парижа. В исследованиях последних лет параллель между молодыми русскими парижанами и французскими экзистенциалистами проводят нередко, особенно между Газдановым и Камю, действительно типологически схожими, но чаще всего и здесь пытаются найти книжные влияния, ставя все с ног на голову. Доводилось, например, встречать заявления, что Газданов “сформировался... через Камю”.³⁶ Даже хронологически такая картина не выдерживает критики. Мировоззрение “парижской ноты” сложилось к началу тридцатых годов, а первые серьезные выступления экзистенциалистов появились лишь в годы войны, когда “нота” перестала звучать, и разговоры о ней велись уже в прошедшем времени. Общность настроений очевидна, но вряд ли тут можно говорить о прямых заимствованиях как с той, так и другой стороны.³⁷ Речь должна идти скорее об аналогичных процессах, в какой-то мере обусловленных общими причинами.

Во время войны люди “парижской ноты” одними из первых отправились защищать свою вторую родину, вдохновленные примером Адамо-

³⁶ Мартынов А. В. Газданов и Камю // Возвращение Гайто Газданова: Научная конференция, посвященная 95-летию со дня рождения. 4-5 декабря 1998 г. М. Русский путь. 2000, с. 72.

³⁷ Любопытно, что бывшие adeptы ноты одними из первых оценили литературные опыты французских экзистенциалистов. Первые отзывы Адамовича о Камю и Сартре появились сразу же после войны: Русские новости 1945. 19 октября. № 23, с. 7; Современная французская литература // Русские новости 1946. 15 марта. № 44, с. 5; Жан-Поль Сартр и “Пути к свободе” // Русские новости 1946. 12 июля. № 61, с. 5; Спектакль Ж.-П. Сартра // Русские новости 1946. 29 ноября. № 81, с. 7; Литературные заметки // Русские новости 1947. 14 февраля. № 92, с. 4; Незнакомец / Пер. и пред. Г. Адамовича. Paris. Editions Victor [1966].

вича, записавшегося добровольцем во французскую армию. Почти все так или иначе участвовали в войне (Борис Вильде и Газданов во французском Сопротивлении, Довид Кнут в еврейском Сопротивлении, Адамович и Варшавский в регулярной армии, Николай Оцуп в партизанах, и это только самые известные). Стало быть, антисоциальность их распространялась до определенных пределов. (Старшее поколение общественников предпочло отправиться в безопасную Америку и руководило борьбой с фашизмом из-за океана).

После войны некоторые из приверженцев “ноты” (Варшавский, Яновский, Чиннов и др.) перебрались в Америку и вспоминали Европу как страну своей молодости, т.е. как своего рода утраченный рай. Симптоматично, что лучшими книгами писателей младшего поколения (лучшими во всех смыслах, в том числе и в художественном) оказались именно воспоминания о годах парижской юности: “Незамеченное поколение” Владимира Варшавского, “Поля Елисейские” Василия Яновского, “Курсив мой” Нины Берберовой, мемуарная дилогия Ирины Одоевцевой, воспоминания Юрия Терапиано.